



А. ПОЛЯНИН

Дни русской лирики

О, в этом испытаньи строгом,
В последней роковой борьбе
Не измени же ты себе
И оправдайся перед Богом.

Тютчев

В мирные, в бурные ли периоды истории, человек — вечный должник перед Богом, и творчество всего человечества во всех областях духа было, есть и будет выполнением этого долгового обязательства. Степенью духовной платежеспособности определяется на весах вечности мировая, национальная и индивидуальная ценность личности. Бог-Сын воздал Богу-Отцу долг всего мира. Человеческий гений — Пушкин, в столь пленительно краткий срок, положенный ему, — долг целого народа. Все духовно живое обязано, по мере сил своих, возвращать Богу дарованное Им, не рассчитывая на то, что кто-нибудь другой расплатится за недоплаченное. Не нам, а истории определять место жрецов на вечной лестнице воздающих; все же мы только рядовые жнецы в этой вечной жатве. Проверка радивости духа — дело совести каждого из нас, и за занавесом, закрытым для всех, кроме одного Великого Зрителя, каждый день, каждый миг разыгрываются трагедии индивидуальной судьбы личности. Но есть моменты — и они периодичны в истории человечества — когда это зрелище с интимной сцены переносится на мировую арену; моменты массовой проверки духа, когда резюмируется несостоятельность духовных путей, идеологий не одной жизни, а поколений; не личности, а общественных классов. Революцией, этим вихрем, сметающим все отжившее, взрываются новые ключи, возносятся новые высоты, разверзаются новые бездны, и, следовательно, народу, пережившему ее, в

частности, — каждому из нас, у Бога открывается новый кредит и тем самым определяется новая наша задолженность перед Ним. Перед каждым духовно-живым человеком, перед творческим же особенно, теперь, с большей, чем когда-либо, остротой, встает вопрос: чем воздам? как воздам? и воздам ли? Это — кинжал над совестью каждого из нас.

К чему, как не к лирике, непосредственному языку чувства, обратиться за подтверждением своих надежд и чаяний.

Никогда так волнующе не звучал для нас высокий стих Тютчева о слове:

О, в этом испытаны строгом
В последней, роковой борьбе,
Не измени же ты себе
И оправдайся перед Богом.

Как же слову оправдаться перед Богом? — Время безнадежного спора о форме и содержании изжито. Период Надсоновского поэтического безвременья, определивший свое отношение к форме наивным девизом «как-нибудь», равно как период расцвета стихотворного мастерства, от Брюсова до наших дней, блестяще разработавший формальные возможности поэзии, практически показали нам, что равно мертвы — о чем его ни говори, слово, сказанное как-нибудь, и слово, сказанное ни о чем, как бы оно ни было сказано.

Какие же условия обеспечивают слову Божье оправдание? — Два условия:

1) Когда слово произносится не перед людьми, а перед Богом.

2) Когда оно произносится в последний миг.

В миг последней зрелости разрывается зеленая почка, теснящая весенний листок. Он появляется потому, что не может не появиться и в тот самый миг — ни секундой раньше, — когда у него уже нет мочи терпеть плен.

Так и со словом. — Только то должно быть высказано, какое не может не высказаться, и только тогда, когда эта надобность созреет в форму последней, неотвратимой неизбежности.

Революция трагической динамикой своей конкретно дала нам единицу измерения напряженности всякой жизни, и голос ее, как отличный камертон, поможет нам проверять чистоту звука слова в нашей поэзии.

Чугунная ограда
Сосновая кровать.
Как сладко, что не надо
Мне больше ревновать.

Постель мне стелют эту
С рыданьем и мольбой.
Теперь гуляй по свету,
Где хочешь, Бог с тобой.

Теперь твой слух не ранит
Неистовая речь,
Теперь никто не станет
Свечу до утра жечь.

Добились мы покою
И непорочных дней...
Ты плачешь — я не стою
Одной слезы твоей*.

«Проклятый хмель», — так определяет Ахматова в стихах 18-го года любовь, — перебродил, сахар молодого вина испарился, и вот оно, благородное, лишенное всякой сладости, сухое вино страсти.

От проклятия любви к приятию и благословению ее, как «крестной муки» — жизненный и, следовательно, творческий путь Ахматовой. В стихах 18-го года головокружительная жажда гибели, отчаянная мольба,

Чтобы смерть из сердца вынула
Навсегда проклятый хмель.

В стихах 21-го года — упорная воля к жизни:

Затем и в беспамятстве смуты
Я сердце мое берегу,
Что смерти без этой минуты
Представить себе не могу.

Какая же она, эта «минута», исполнившая смыслом долгую муку жизни? Та, когда

Войдет он и скажет: «Довольно,
Ты видишь, я тоже простил,

минута, венчающая весь путь искупления. Жизнь для Ахматовой — ожидание этой минуты, но ожидание творческое. Сердце ждет, а дух творит ее. Путь ее творчества — жертвенный, путеводная звезда над ним — завет:

Завещал мне, умирая,
Благостность и нищету.

* Ахматова А. Anno Domini MCMXXI. Пг., Изд-во «Петрополис».

Радостное недоумение перед тайной:

Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

разрешается пафосом утверждения: источник этого света — в отрешенности:

За тебя отдала первородство
И взамен ничего не хочу *
Оттого и лохмотья сиротства
Я как брачные ризы ношу.

И неразрывно связанное с подвигом жизни творчество Ахматовой намечает свой суровый жреческий путь:

Для детей, для бродяг, для влюбленных
Вырастают цветы на полях,
А мои для святой Софии
В тот единственно светлый день,
Когда возгласы литургии
Возлетят под дивную сень.

Аскетизм словесной плоти стиха, непререкаемая законность его строгой ритмики — порукой важности и подлинности совершающегося в поэте духовного дела. Только в большом огне выплавленная и ледяной остудой закаленная так тверда и упруга сталь. Страсть — плавящая этот стих — большой огонь. Муза, закаляющая его — большая охладительница, — и вот, благодарение Богу, мы слышим слово, поистине не изменившее себе.

И вот еще один — в большом пути **

Плен страшного «счастливого домика» с вещей звездой смерти, остановившейся над ним, изжит.

Сердцебиение при виде раскрытого гроба:

О, лёт снежинок,
Остановись!
Преобразись,
Смоленский рынок

кончилось.

Поэт поднял глаза под взглядом смерти, и голос его, одолев лихорадочную дрожь, повелевает «несовершенному духу»:

* Курсив мой. — А. П.

** Ходасевич В. Путем зерна. М., Книг-во «Творчество».

Учись дышать и жить в ином пределе,
Где ты — не я.

Так начинается путь ученичества в суровой школе созерцания. Поэт несет обет бескорыстия, самозабвения, и вот, наконец, совершается невольное в самолюбивом ознобе страха смерти преображение:

..... и все, что слышу,
Преображенное каким-то мудрым чудом
Так полновесно западает в сердце,
Что уж ни слов, ни мыслей мне не надо,
И я смотрю как бы обратным взором
В себя.

Зрение этим «обратным взором» открывает духу источник «вечного хмеля» созерцания, последнего хмеля, после которого духу нет утоления ни в чем ином. Под этим «обратным взором» раскрывается сущность всего сущего, исход явлений из единого русла, и это Божественное единство Ходасевич приветствует и в столяре, раскрашивающем первый красный гроб, и в мальчике мечтателе «с бессмысленной священной улыбкой», и в поистине вдохновенно увиденной обезьяне:

Глубокой древности сладчайшие преданья,
Тот нищий зверь мне в сердце оживил,
И в этот миг мне жизнь явилась полной,
И мнилось — хор светил и волн морских
Ветров и сфер мне музыкой органной
Ворвался в уши, загремел, как прежде,
В иные, незапятные дни.
«Так и душа моя идет путем зерна.
Сойдя во мрак, умрет — и оживет она.
И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна».

Благословляющий — благословен, и вот он — драгоценный залог того, что жертва принята: слово достигает кристалльности формулы.

В голосе Сологуба* чувствуется то благородное ослабление звука, которое обуславливается отдаленностью говорящего. — В застывающих далях высоты проходит животворящее течение вдохновения, — «вечная качается качель».

* Сологуб Ф. Фимиамы. Пг., 1920.

На милой, мной изведанной земле,
Уже ничто меня теперь не держит.

Для тех, кто хочет побеждать
И блага жизни отнимать,
Оставляю долю я свою
И песню вольную пою.

Все права на блага жизни — за единое право вольной мысли, вольной песни. Это — не мирная мена; это — боевой девиз на знамени мудреца и поэта. Право на вольную песню должно быть завоевано, и победоносный путь знаменосца не обходит стороной кровавое поле жизненного боя, а ведет через самые опасные места.

Я испытал превратности судеб.

Испытанием этим вскормлен огонь пафоса последнего знания —

Знаю знанием последним,
Что бессильна эта тьма.
Знаю правду, верю чуду
И внимаю я повсюду
Тихим звукам тайных сил.
Тот просвет в явлении всяком,
Что людей пугает мраком
Я бесстрашно полюбил.

Доказательство кровности этой любви в космическом элементе поэзии Сологуба (см. стихи «Как же я богат слезами», с. 42 и «Не думай, что это березы», с. 61). Доказательство бесстрашности этой любви — в мистическом восторге, вызываемом ею:

Знаю, что скоро открою
Близкие духу края,
Миродержавной игрою
Буду утешен и я.

В своих «Фимиамах» Сологуб достиг той вершины познания, на которой «вольная песня» становится гимном.

Говоря о словах, не изменивших себе «в последней роковой борьбе», невозможно обойти молчанием то, что сделал со словом Брюсов, или, вернее, что сделало слово с Брюсовым «в такие дни» *. Пусть те, кто обделены талантом уважения, суетят-

* Брюсов В. В такие дни. Стихи 1919—1920 г. Государственное издательство. 1921.

ся вокруг факта падения Брюсова, обогащаются приметами его творческой исчерпанности, для нас сборник Брюсова значителен, как последний акт трагедии, как законная развязка назревшей страсти. Никогда, ни один из поэтических образов, созданных Брюсовым, не волновал нас так, как он сам в творимом им из себя образе «великого поэта» в образе, создание которого было делом всей жизни Брюсова, единой страстью, руководившей им, как трагическим героем, на протяжении всех пяти актов жизни. И вот великий долголетний поединок со словом, которое, наконец, дрогнуло под гениальным волевым натиском творца «Urbi et Orbi» и «Stephanos'a», чтобы затем с большим еще и все возрастающим упорством воспротивиться этой иступленной воле, кончился. Брюсову нечего преодолевать: высокое слово, материал искусства, не вступает с ним в бой; у Брюсова больше нет силы для вызова, а то обиходное слово, которым пользуется он теперь, само дается в руки, скользя между пальцев змейкой скороговорки.

«Кто, кто монгольскому потоку возвел плотину, как не ты?» «В единый сноп нас, серп, вложи. В единый цоколь скуй нас, молот». «В костре куст лишний», «Нет, бред льнет», «Колокол в тени. Сон! Сон! Помедли». Ни запятые, ни восклицательные знаки не в силах разбить метрической единицы стиха, и, слушая такие слова (а их множество в «Таких Днях»), как — кто, кто серп нас, нас молот, куст лишний, бред льнет, сон сон», кажется, что стихи эти написаны на каком-то незнакомом и неприятном слуху языке.

После же таких слов Цезаря к Клеопатре:

Пусть в тебе таит свой бред блудница
Цезарь тож не новичок в любви **

становится попросту больно, как при зрелище издевательства над человеком, жутко, как при виде какой-то бесстыдной карикатуры.

Вот он, последний штрих такой сложной, такой грандиозной композиции! Страшная ирония его так явственна, что точно глазами видишь, как промелькнул хвостик чёртика, прошмыгнувшего по картине. Но разве душа слова, неподкупная, жестокая, страшная, прекрасная душа слова может быть неблагодарной, может быть изменницей? Нет, но слово мстительно; оно выдает самозванцев. Слово отмстило Брюсову, завоевы-

* Курсив мой. — А. П.

вавшему его в течение всей жизни ради того, чтобы стать великим поэтом, и оно дается попросту поэту, не размышляющему о месте своем на Парнасе, а творящему дух свой и жизнь свою не перед судом истории литературы, а перед страшным Судом Божьим.

